



КРАСНАЯ НОВЬ

ЖУРНАЛ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
КРИТИКИ И ПУБЛИЦИСТИКИ

1933

1933

КНИГА
ЧЕТВЕРТАЯ

АПРЕЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Маршрут ватаги Ермака¹

Дм. Мазнин

Перед нами развернута широкая картина феодальной Руси эпохи Ивана Грозного, отражены некоторые, весьма существенные стороны той эпохи.

Выпукло, красочно обрисован громадный маршрут, проделанный Ермаком. Мы как бы движемся вместе с ним по «Дикому Полю», по Раздорскому шляху, «что пролег меж Доном и Волгой», плывем на «бударах и насадах, лодках плавных и лодках кладных» вверх по Волге, к устью Камы, потом—вверх по Каме, к купцам Строгановым, и от них—через Урал и тайгу к Тоболу и Иртышу. Перед нами оживают картины вступления казаков в город Сибирь, «позже рекомый Тобольск», вылазок на Обь, поездки Ивана Кольцо в Москву с подарками к царю, гибели Ермака и т. д.

Этим маршрутом ватаги Ермака воспользовался писатель, чтобы показать ряд моментов, положений, деталей, характерных для противоречий тех лет.

Хороши несколько страниц о волжских бурлаках, как рядились они в понизовьи с купцами, которые давали им «по три рублика на рыло». «Солона ты, слеза бурлацкая! Приходили до места—мясо на плечах ободрано до костей, деньги забраны и прожиты, лапти стоптаны, рубахи вшами съедены. Вязали плот и опять сплывали на низ».

Ярко в главе седьмой показан приволжский город тех времен: лавки купцов и ремесленников, ямы дегтярей и смолокуров, калеки и нищие, озорничавшие бурлаки, колодники, окруженные стрельцами, мужики калужские и костромские, бредущие «на низ, бурлаковать», потому что на родине «глад и мор, мается народ», сын боярский, разъезжающий по торгу верхом и разбрасывающий монеты, наконец, палач, секущий на помосте мужика, и взрыв возмущения массы, которая, под предводительством «гусака, бурлацкого» Мамыки, свалила помост, смяла стрельца, разгромила купецкие лавки и устремилась на Волгу к казацким стругам. В одной фразе А. Веселый дает представление о тех

«Артем Веселый. «Гуляй-Волга». Роман. ГИХЛ. 1932 г.

силах, которые выступают в городе на том этапе, как силы нарождающегося протеста, ищущие помощи и руководства у казаков: «За Мамыкой бежали бурлаки, колодники, ярыжки кабацкие, бездомки и побродимы гулящие».

В ряде других страниц А. Веселый показывает, правда, недостаточно развернуто, откуда растет крестьянская революция начала семнадцатого века, какие силы поддержат через двадцать лет лже-Димитрия и пойдут на Москву под руководством Ивана Болотникова.

В немногих словах он вскрывает двойственную политику царского правительства по отношению к казакам: с одной стороны—использовать их, как средство насильственного захвата земель, как вооруженную силу для завоевания новых торговых путей, и, с другой стороны, всячески теснить казаков, не пускать их во внутренние области Московского государства, не пускать даже в города.

Ермак говорит Мартьяну:

«Шлет Москва до низовых и верховых атаманов ласковые грамоты, зовет оберегать Поле от ордынцев и за ту службишку пороку, сукна и хлеба сулит. А воеводы с большого ума да по государеву указу отгоняют нас от русских городишек, как бешеных волков, а где поймают—там и языки урезывают, ноздри рвут, батогами бьют, на дыбу дыбят и в удаленные монастыри да заводы¹ в ссылку шлют для крепкого обереженья».

Такая политика Московского государства, как отмечает М. Н. Покровский, «ни к чему, конечно, не вела, кроме того, что казаки и всякие другие вольные люди, скопившиеся на юге, привыкли все более и более ненавидеть власть, которая сидела в Москве, и смотреть на нее, как на своего врага».

Важнейшим достоинством «Гуляй-Волга» является то, что в романе правильно вскрыт класс

¹ Здесь, очевидно, неточность. Ермак в романе говорит эти слова, как мы полагаем, в 1579 году, когда заводов еще не было. Первый железодельный завод появился в 1632 г., первый стекланный — в 1634 г.

совый смысл движения ватаги Ермака. Ермак — агент торгового капитала, орудие в руках купцов-колонизаторов. Вот, коротко говоря, о чем повествует «Гуляй-Волга».

Купцы Строгановы, жившие в верховьях Камы «как князьки», вели крупное дело: соль, хлеб, железо, медь, серебро. Они даже «на свой страх и риск затевали с дикими народами войны, строили города и крепости. По рекам и на усторожливых местах, на пути ногайских и сибирских людей ставили острожки и караульные вышки». Строгановы шлют зазывное письмо Ермаку: «Идите к нам оборонять Великую Пермь и восточный край христианства...»; «Вы б приплыли к нам, единовверные казаки, и нам служили б. Мы вам за вашу службу жалованье хлебное и денежное хотим дать».

Казаки хорошо служили у купцов Строгановых и, как иронически говорит А. Веселый, «показывали свою казачью правду». Усмиряли черемисов и башкир, сгоняли с дедовых стойбищ татар и остяков, очищая Строгановым землю для «соляного и пашенного дела».

В яркой картине бунта солеваров Веселый показывает и ужасающие условия труда на строгановских рудниках и жестокое разочарование солеваров в том, что казаки их поддержат. Ермак обнаруживает себя, как верный слуга купцов, заковывает зачинщиков и организует всеобщую порку солеваров.

Убедительно обрисовывает А. Веселый роль Строгановых в организации сибирского похода. Купеческая инициатива, купеческое руководство, купеческое снаряжение вплоть до «хоругви святой да иконы Миколы Можая». Для Строгановых отправка казаков в Сибирь была чисто коммерческим делом. Так легендарная фигура Ермака приобретает очертания добросовестного исполнителя воли торгового капитала.

«Русь ходила на Сибирь с мечом, рублем и крестом». В этой формуле А. Веселого выражено существо сибирского похода. В романе это не только формула. Сила купеческого рубля, направляющая колонизаторский меч, осененный миссионерским крестом, физически ощутима в картинах разгрома народов Сибири казаками.

Чуткий слух пролетарского художника не позволил А. Веселому представить всю ватагу Ермака в виде воинственных рыцарей, непоколебимо преданных интересам торгового капитала. Он отмечает, как после усмирения и кровавой порки солеваров казак Васька Струна, сказав: «Будя кровавить руки», — набрал шайку и сбежал на Волгу, как сбежал вслед за ним, подго-

ворив своих дружков, «гусак бурлацкий Трофим Репка». Наконец, уже в Сибири, недалеко от Кучума, вспыхивает мятеж среди казаков. Опять раздаются голоса: «Будя кровавить руки, сиротить здешний край»; «За купцов воюем»; «Поманил вас Строганов блином масляным, вы и губы распустили... Зверски расправился Ермак с предлагавшими уйти из Сибири».

Победой над Кучумом была решена судьба племен Сибири, судьба обреченных на разграбление, на чудовищную эксплуатацию, на вымирание. «Бежали вогулы, преследуемые разящим огнем пушканов. Бежали, чтобы разучиться пахать землю, забыть рудное и кузнечное дело, чтобы замутить свой язык чужими наречьями». От этих времен Ермака рассыпаны, раздроблены, превращены в человеческую пыль вогулы. Такова «цивилизация» русских колонизаторов. Она означала рабство:

«Ни в какие работы казаки сами не вступали. Работали на них согнанные из разных мест народы... Русский надглядчик, покуривая трубку, похаживал меж народов с плетью. От тех работ за одну лишь весну больше ста человек пустились в бега, несколько истаяло с голоду, шестеро удавились».

Находятся товарищи, утверждающие, что, роясь в скудных исторических материалах о завоевании Сибири, А. Веселый ограничился только пересказом их, повторил старые схемы русской истории, тем самым обесценив всю свою работу. Такой взгляд высказал, например, О. Брик на одной дискуссии о «Гуляй-Волга».

Известно, каковы старые исторические концепции об образовании Московского государства, о расширении его границ на юге и востоке. В буржуазной и помещичьей литературе распространенной была теория о том, что якобы «борьба со степью» выковала русское государство. Кочевники, дескать, совершали набеги на Русь, и для спасения от них объединялись князья и строилось государство по-военному, в борьбе со степью расширяя свои границы, обеспечивая спокойный путь развития «государственности».

Может быть таким образом и объясняет А. Веселый превращение Сибири в колонию? Может быть он видит в этом факте «естественное расселение русского племени», не связанное ни с какими кровавыми ужасами колонизаторской политики той эпохи? Может быть, он усматривает в движении «Ермака с товарищи» в Сибирь исключительно вольную колонизацию, совершавшуюся по доброй воле Ермака, не связанную с интересами государства и торгового капитала? Может

быть воспевают он, наконец, высокие цели христианского просвещения русскими войнами отсталых, невежественных «инородцев»?

Если б это мы увидели в «Гуляй-Волга», мы действительно могли бы сказать, что Веселый только повторил старые исторические концепции. Это, конечно, не так. В основных, решающих пунктах, как мы уже видели, «Гуляй-Волга» совпадает с марксистской схемой русской истории.

Важны именно основные, решающие пункты. А. Веселый писал не исторический трактат, а художественное произведение, и то, что он уловил дух эпохи, вскрыл пружины событий, описанных в романе, взглянул на них глазами широких трудящихся масс,—составляет несомненную его заслугу.

Было бы полезно, конечно, если бы наши историки и этнографы проанализировали роман со своих точек зрения.

Историки, вероятно, указали бы ряд спорных моментов. Бросается в глаза, например, в самом начале романа наивная, если не сказать больше, трактовка «опричины»:

«...скоро, по слову летописца, возненавидя грады земли своея, скакал царь с опричниками по дорогам русским и в исступлении ума крушил города, жег деревни, побивал и топил множество народа и неугодных вельмож. Так в лето 1570 года были подняты на меч Клин, Тверь, Псков и Новгород... Веселился царь, веселились и его согласники, а на помостах стучали топоры, рубя—и черным людишкам, и попам, и боярам—головы».

Ограничиться такой формой описания террора, возникшего после государственного переворота 1564 г., когда властью завладели представители среднего поместного землевладения и торгового капитала, интересы которых выражал Иван Грозный, ограничиться в объяснении террора тем, что царь, «возненавидя грады», «в исступлении ума» крушил их—значит остаться на уровне поверхностного летописца тех времен. Здесь не самодурство царя, а борьба классов: дворянство и купечество против бояр и сил, поддерживавших старый порядок (монастыри и пр.). Потеря значения боярской думы, истребление ряда боярских семей, разграбление помещиками боярских вотчин—все это сложнее, чем просто сказать: «крушил города, жег деревни».

Сомнителен в некоторых пунктах довольно поверхностный и упрощенный показ сибирских народов. Они даны главным образом как находившиеся в диком, зверском, животном состоянии.

Несомненно, в их быту можно было бы вскрыть остатки коммунистического товарищества, которые вскрывает, например, А. Фадеев в «Последнем из удэге».

Кое в чем здесь, очевидно, А. Веселый не подвинулся над летописями и легендами о покорении сибирских варваров.

Влияние летописей сказалось и в другом отношении. Порою сибирские туземцы начинают говорить в романе прямо языком какого-то летописца-дьячка XVI века. Кучуму рассказывает лезгин Чумшай, побывавший у казаков:

«А молятся своим русским богам, которых у них много. И над богами есть атаман, зовомый Николай угодником, тоже с бородой, лицом темен и взглядом грозен».

Или—Кучуму говорит Тулай:

«Не спвств ль та выхваля, царь? Не погнулись бы суесловы на труса? Затверди ихнюю похвальбу клятвою... В бою пусти их вперед, да секутся с казаками...»

Но такое странное строение речи туземцев встречается лишь изредка. Упомянем еще разговор кудесника Памы с Мартьяном. В общем же автор стремился дифференцировать язык казаков и народов Сибири.

Если говорить о языке романа в целом, то нельзя не отметить его своеобразия. А. Веселый взял правильный курс на сохранение колорита эпохи не только в передаче тех или иных ситуаций, стычек, боев, не только в обрисовке снаряжения, бытовых вещей, костюмов и пр., но и в языке героев.

Но как этого достичь? Сохранились официальные документы того времени—царевы грамоты, указы, переписка с воеводами, купцами и пр., сохранились летописи, главным образом монастырского происхождения, наконец, фольклор. Но живой язык народных масс XVI века нам неизвестен.

Пушкин в «Борисе Годунове» отразил события, отделенные всего двадцатью годами от сибирского похода, отразил, кстати говоря, и уровень исторической науки в начале прошлого века, и ее классовые цели. Как Пушкин подходил к передаче языка эпохи? Сам он пишет: «Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров; Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий; в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени. Источники богатые! Успел ли ими воспользоваться—не знаю. По крайней мере, труды мои были ревностны и добросовестны».

«Образ мыслей и язык тогдашнего времени»

Пушкин старался угадать в летописях. Но он не попал в плен к летописям, язык его трагедии отнюдь не является рабским следованием языку летописей. Пушкин дал высокого качества сплав языка девятнадцатого и семнадцатого веков, создающий ощущение подлинно-русской речи, которой так восторгался Белинский, анализируя трагедию:

«Не только прежде, даже после «Бориса Годунова» явилась ли на русском языке хотя одна драма, содержание которой взято из русской истории и в которой русские люди чувствовали себя, понимали и говорили по-русски...»

Насколько можно судить без детального анализа языка романа, А. Веселый шел путем Пушкина: стремясь угадать язык эпохи в летописях и др. документах, он остерегался слепой зависимости от них. Дело осложнилось для А. Веселого тем, что летописи не могли ему быть хорошими помощниками в передаче живого языка массы, а именно масса, выступающая лишь в отдельных сценах «Бориса Годунова», находится в центре внимания «Гуляй-Волги». Подлинный демократизм творчества А. Веселого, замечательное знание им языка масс, участвующих в нашей революции, и понимание духа XVI века, умение создать сплав речи двух разных эпох— вот где секрет того, что там, где масса в «Гуляй-Волге» интуитивно, решает вопросы, пирует, дерется, смеется, говор ее правдиво и убедительно звучит на страницах романа.

Если же от диалога массы перейти к языку повествования, идущего от имени автора, то здесь нас прежде всего поразит любопытное сочетание различного строя речи.

Вот простой, без мудрствований, прозрачный литературный язык наших дней, с сохранением только самых необходимых терминов эпохи Ермака:

И пошла работа: кто высекал топором вмерзшую в берег лодку, кто прочищал от порохового ватара запал: ввертывали в пистолы новые кремни, точили шашки и ножи, рубили свинец. Есаулы подсчитывали и разводили по стругам людей, раздавали запасное оружие да кожаные гаманки с порохом...»

Вот явное влияние стиля летописи:

«Печалился царь Иван о неустроении царства своего и все придумывал, как бы сотворить земле русской приращение, прибыточную торговлю со соседними странами завести и веру православную распространить, дабы возвеличилась Русь над всеми народами и языками».

«Казачи засеку разметали и хоругви с ликами

«христа и богородицы на горе Чувашиевой утвердили».

Вот смыкающийся с предыдущим язык «жития святых»:

«И побрел Мартьян по лесам и болотам, услаждая одиночество пением псалмов»; «За правду свою был бит на воеводском дворе палками и, похворав мало, получил блаженную кончину».

Вот стиль народного сказа:

«Врал Куземка, аж земля под ним зыблилась, врал—сам себя не видел»; «Много чего ватажники стрескали, а не могли яств повесть, пития повыпить. Иной, распустив брюхо, ел стоя, чтоб больше утряслось... и т. д.

Вот явный лубок:

«Царь за всех думал, князья и люди ратные воевали, а мужики пашню пахали, траву косили и всякие дела делали,—исстари крепка стоит Русь горбами мужичьими».

Так же иронически звучит лубок в описании побед «героев» Ермака:

«...В другом месте, узком, вогулы преградили реку цепями,—казаки и тут проплыли здраво да набили вогулов кучу. Те одеты были в лохмотья, казалось—поживы с мертвых мало, но и тут русцы маху не дали: убитых ободрали да каждому ноги у щиколоток вязали лыком и, навдевав мертвых по десятку и более на бревно, пускали плыть по воде, на страх внизу живущих».

Оправданы ли эти различные стилевые струи в повествовании, обязательна ли подобная разноголосица? Нам думается, что свидетельствует это не столько о высоком мастерстве А. Веселого и продуманном изменении в тех или иных местах ритма и словарного состава, сколько о поисках, опытах автора, еще не до конца определившего стиль всей своей вещи.

Наконец, следует отметить опыты словотворчества А. Веселого: «степь весенница», «тюрь-мари» (колодники), «прошатаи и землепроходцы» (пришельцы-колонизаторы), «разузнайщики», «размир» (ссора), «храбрачи», «дивеса» («дивеса джигитовки»), «смелачи», «прошляк» (историк), «мноугоумный читака» (иронически—читатель) и др.

Здесь продолжение работы В. Хлебникова по линии оживления славянских и древнерусских слов и словообразований в духе славянского языка («размир» и пр.). А. Веселый признавал в печати свою ученическую зависимость от Хлебникова: «Его (Хлебникова) мастерской и творческой работе над словом я чрезвычайно многим обязан и в своей литературной работе».

Надо сказать, что при первом чтении «Гуляй-Волги» только некоторые слова, приведенные выше, задержали внимание своей необычностью, ненужностью. Ряд слов так вкраплен в повествование и диалог, что звучит как органически необходимый. Когда Кучум обращается к своим войскам и восклицает: «О, храбрачи!», то это в контексте совершенно не вызывает улыбки.

Не случайно тяготение А. Веселого к Хлебникову и в начале писательской работы к ЛЕФу, не случайно этокое нигилистическое сбрасывание со счетов искусства Фадеева и Леонова (это, дескать, «не искусство, а добросовестные упражнения в чистописании»¹), не случайно, кстати, и то, что, высказываясь в печати о драматургии, А. Веселый, умалчивая о Шекспире, признавал, что он «всегда высоко ценил французских классиков, в особенности Мольера и трагиков XVII столетия—Расина и Корнеля». Симпатии к этим трем именам весьма симптоматичны для определения творческих позиций А. Веселого.

Полезно здесь привести весьма злободневные суждения А. С. Пушкина о Мольере и Шекспире:

«Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные, многосложные характеры. У Мольера скупой—скуп, и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив и остроумен. У Мольера лицемер волочится за женою своего благодетеля, лицемеря; принимает имение под хранение, лицемеря, спрашивает стакан воды, лицемеря. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с дщеславной строгостью, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства. Анджело лицемер, потому что его гласные действия противоречат тайным страстям. А какая глубина в этом характере!»

Отталкиваясь от Мольера, Пушкин отталкивался и от Расина: «Я твердо уверен, что нашему театру приличны законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедий Расина».

Можно было бы подумать, что А. Веселый не достигает индивидуализации героев, создания

«многосложных характеров» вследствие недостаточно еще высокого уровня мастерства. Но гораздо вернее объяснить это именно осознанными творческими позициями автора, его «мольеризмом» в противовес «шекспиризму».

Ермак у А. Веселого не раскрыт, как характер, «как существо живое, исполненное многих страстей». Как тип завоевателя, он однолинеен, однотонен, беден индивидуальными чертами, нам неизвестно многое в нем. То же можно сказать и об Иване Кольцо, Мамыке, Мещеряке, Никите Пане и других товарищах Ермака.

Мы узнаем, что отдельные реплики в толпе казаков произносят: Осташка, Лаврентьев, Яшка Брень, Заруба, Игренька, Бусыга, Елисей Кручина, Иван Задня Улица, Панкрашка Лоскут, Фока Волкорез. О многих других колоритных прозвищах узнаем мы в романе, но что за люди носят эти прозвища и чем, кроме них, отличаются друг от друга,—остается тайной автора. Во всяком случае любые их реплики могут быть без ущерба переданы друг другу. Я говорил, что там, где масса выступает вместе, ее слитный говор звучит правдиво и убедительно. Именно так мы ощущали бы ватагу Ермака, если бы впервые в жизни приехали на ее сход, никого не зная из этой ватаги. Но ведь А. Веселый ведет за собой читателя по всему маршруту Ермака—от Дона до Иртыша, в течение трех лет похода знакомит читателя с ватагой. И тем не менее от казацкой массы остается впечатление смутного хаотического пятна, в котором только еле уловимо мелькают иногда живые лица.

Насколько глубже было бы познавательное значение романа, если бы автор стремился преодолеть обезличку, присущую и произведениям, написанным до «Гуляй-Волги»! Остается только пожалеть, что недостаток старых своих вещей А. Веселый возводит в творческий принцип.

В заключение остановимся на двух вопросах, которые могут возникнуть при чтении «Гуляй-Волги». Почему Артем Веселый обратился к исторической тематике? Не является ли это своеобразным бегством от современности, с которой может быть художник находится в разладе? И, во-вторых: почему внимание Веселого привлекло именно время Ивана Грозного, завоевание Ермаком Сибири (1581—1582 г.)? Почему он не взял своим объектом первые вспыхнувшие революционного движения, такие, например, фигуры вождей крестьянского восстания, как беглый холоп Иван Болотников (1606 г.) или его наследник—Степан Разин (1668 г.)?

Артем Веселый работал до сих пор главным

¹ См. газ. «Советское искусство» № 5, 26—1—1933 г. А. Веселый — «Голос начинающего».

образом на материале гражданской войны, причем не случайно, что именно партизанский период наиболее ярко запечатлен в его произведениях, что слабо выражена в них организующая, дисциплинирующая, направляющая воля пролетариата и его партии.

Возможно, что трудности, вставшие перед писателем за последние годы (назревшая необходимость перехода к новой тематике и неудачи, ошибки типа «Босой правды» и «Домыслов»), толкнули Веселого искать свои, отличающие его от других писателей пути перестройки. Он пошел не по линии создания своей «Соти» или «Гидроцентрали», а во-первых, по линии коренной переделки, обработки своих старых вещей и, во-вторых, по линии исторической тематике. Так был создан последний вариант «фрагментов» «Россия кровью умытая» и роман «Гуляй-Волга».

Это не было бегством от современности и не свидетельствовало о разладе писателя с современностью: это было поисками своих путей перестройки, поисками средств выражения своего ответа на задачи нашей эпохи.

Почему же именно Ермак привлек внимание А. Веселого? Возможно, что здесь сказался особый интерес автора к «гулевой вольнице», к неудержимому стихийному буйству партизанщины. Автор пишет в конце романа: «Зачатки осознания себя, как класса, широкими низами крестьянства и гулевого казачества следует относить к временам Пугачева и Разина. В шестнадцатом же веке и ранее, если говорить без натяжки, повольники являлись буйствующей сле-

пой силой—доказательств тому в истории предостаточно». Возможно, что это не совсем точное представление о ватаге Ермака, как о «буйствующей слепой силе», и определило как особый интерес А. Веселого к Ермаку, так и первоначальный замысел романа. Не случайно назван он «Гуляй-Волга», не случайно дан подзаголовок «Разнослову первому»: «Отвага мед пьет и кандалы трет», и не потому ли с особой любовью выписаны именно картины разгула вольницы, ее неудержимой отваги?

Но каковы бы ни были субъективные намерения автора, для нас ясно одно: стремясь к исторически правдивому изображению событий, он показал, что казацкая «вольница» была мнимой вольницей, что на деле она была орудием в других руках, что организующая рука купечества направляла действия «буйствующей слепой силы».

В наши дни, когда мы в товарищеском содружестве всех народов Союза строим социализм, когда в результате этого строительства нового общественного уклада подымается благосостояние всех трудящихся, в эти дни полезно оглянуться на прошлое, полезно вспомнить, как в недрах феодализма торговый капитал расчищал почву для капиталистического общества, как в грабежах, крови и насилиях шло первоначальное капиталистическое накопление, как во имя создания прибылей уничтожались, придавливались к земле целые народы.

В этом сопоставлении, которое делает каждый читатель, основная положительная ценность исторического романа А. Веселого.